

ЗА СТРОКОЙ УЧЕБНИКА

**Лев Александрович Аннинский. Это имя известно далеко не всем. Между тем в среде литераторов и интеллектуалов он один из признанных авторитетов.**  
 «У меня нет смелости писать о жизни впрямую, — говорит он. — Как-то я отказался читать по телевидению нравственную проповедь. Я не способен открыть рот для заставления других. Занимаюсь литературной критикой. Мне нравится оттапливаться от чужого текста. Критика — мой способ существования. Когда прижмут, я отшучиваюсь. В этом вечное спасение российского интеллигента, начиная от скomorоха и юродивого: ёрничество, игра в «брехуна». Не хочешь — не слушай, а врать не мешай! А свои — кто понимает — пережигаются...»  
 Книжки Аннинского о литературе и писателях полемичны, мысли оригинальны, порой парадоксальны. Его нельзя отнести к какому-то «лагерю» критиков. Он не «левый» и не «правый». С. Чупринин сравнил его с кошкой, которая гуляет сама по себе. Сам же Аннинский считает себя фаталистом. Все движется так, как к тому предрасположено. «Бог создает не факты, а факторы», — как говорил Киприан.

— Лев Александрович, в какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о фатальном, неизбежном процессе, результатом которого мы имеем нынешнее положение России?

— Все, увы, закономерно. И не валите все на большевизм. Современный результат мы имели бы и при любой другой власти. Неважно, кто победил: Владимир Ильич или Петр Бернгардович, результат был бы приблизительно один и тот же. Кризис русской власти — это процесс неизбежный, фатальный, а не результат революции, как считает Солженицын. У нас вообще все выворачивается наизнанку: хочу одного, а получаю другое. Возможная разгадка в том, что мы евразийцы. Плод смешения. Тысячу лет между Востоком и Западом. Мы попали в химерическую ситуацию: пришлось сплотить гигантское количество разношерстных народов. Народ на этой громадной территории привык более к тирании, чем к свободе. У нас либо рабство, либо разгул и бунт. А разгул, стихия, опять же рабством и заканчивается. Отсутствие самодисциплины, разумного самоограничения — уже почти национальная черта русских, продолжение их безграничности и безудержа. Мы все доводим до края, а потом сползаем, проявляем благородство до самопожертвования. Мы от природы вечно бунтующие рабы, при этом очень доверчивые. В начале века господь нам подсунил ловушку, и мы попались в нее, как самый доверчивый народ... И за пять лет перестройки народ не изменился. Народ вообще быстро измениться не может. Переделывается психология веками, а не в 500 дней перестройки. Нужно длительное мирное развитие. А где ж его взять, мирное время? Крутом горит все...

— В XVII—XIX веках Россия колоссально раздвинула свои границы. К нам приезжали жить и работать талантливые люди из Европы. Великую русскую культуру помогли создать немецкие, итальянские, французские зодчие, живописцы, люди, умеющие что-то хорошо делать. Теперь же для спасения русской культуры «патриоты» предлагают отмахиваться от «нерусских». Поможет ли это великой культуре?

— В Россию ехали потому, что понимали, что тут можно реализовать себя. Француз Монферран строил «Исаакий», итальянцы строили Кремль. Русские расширялись за счет того, что русскими хотели стать и становились те, что попадали в нашу орбиту. «Русские — это те, которые здесь смешались...» От кого Достоевский происходит? От литовцев. А Толстой от кого? От немцев. Все Толстые происходят от немца, пришедшего сюда на службу во время оно. Кто еще? Некрасов? Полуляк. Жуковский? Полуляк. Пушкин на одну четверть был эфиопом, а на одну четверть немцем. То, что Пушкин эфиоп, было для него страшно важно, и он это акцентировал: он играл роль эфиопа, черного. А то, что он был немец, — это Пушкин в себе не подчеркивал. Национальность — это прежде всего самосознание, самоопределение. Еще в XV века, когда татарские конники пошли на Русь служить, одна треть русского дворянства составила из татар. Достаточно было прийти на Русь и сказать: Я — русский, и никто не спрашивал у тебя ни паспорта, ни пятого пункта. На этом и строилась русская культура. Она все в себя впитала. Она как бы создана на подражании из восточно-западных крылов и — уникальна. В этом загадка и Пушкина тоже. Его поэзия — эхо, и при этом она в себе все пересоздала.

Вот мне и обидно, что сейчас спрашивают происхождение, раскрывают псевдонимы, говорят: «русскоязычный поэт». Начинается обратное движение, а это уже шаг к концу, к вырождению. Это брезжит конец великой культуры. И не только то думает, что кончается культура, а то, что некому ее сегодня у нас принять. Была великая греческая культура, ее подхватил Рим... После

Рима возникла итальянская культура эпохи Возрождения. Иногда кажется, что мы стоим на пороге темного времени, пропасти... Некому передать то, что мы знаем.

И, конечно, сгущая краски. Русские при всей «дуравости» своей очень талантливы. У нас очень чуткий флюктуативный эффект, т. е. очень велик момент неожиданности. Здравого смысла, может, и мало, но творческая способность гигантская. Мы просто не владеяем ею. Поэтому и вера в чудо так сильна. И в момент гибели (своей лично) я буду думать, что не все потеряно. Никто не смеет ставить на нашем народе крест... В нем вовсе не умерли ни взаимопомощь, ни любовь, ни доброта... Только кризис страшный. На что уповать? На русскую непредсказуемость...

Спор о том, каким путем идти России, давний. В XIX веке спорили славянофилы и западники, либералы и революционные демократы. Сегодня эти споры

Лев АННИНСКИЙ

БОГА НЕТ,  
НО ЧТО-ТО  
ЕСТЬ

опять обострились. Чем, на ваш взгляд, отличаются «почвенники» XIX века от «почвенников» конца XX?

В XIX веке «почвенники» были разные. Если говорить только о XIX веке, то там были «славянофилы старшие» «славянофилы младшие» и потом — «почвенники». Это все точки на одной линии, и эта линия взаимодействует с другой западной ориентацией русской обществу, русской культуры. Как взаимодействует? Россия — это всегда западная власть и восточный народ. Мы оказались на изломе двух полюсов. Россия существует как диалог Запада и Востока, в этом суть смешанной русской души. Это как два полушария в человеческом мозге. Славянофилы появились потому, что был Петр с его патристическим. Хотя «западники» были и раньше, еще при Ярославе Мудром. Всякий контакт с Европой предполагал непрямую обратную реакцию Востока внутри русской души. Ведь тут существовала и татарская культура, и мусульманская, все, что хотели... Но контакты с Европой неизбежны, живительны.

«Старшие славянофилы» — это блестящие европейцы, люди с последовательной системой европейских идей. И журнал Киреевского, между прочим, назывался «Европеец». По выражению Розанова, славянофил в России — это есть настоящий европеец, который хочет понять и понимает русскую почву. Он понимает, что живет в России, и что Россия не Европа. А что такое западник? Это дремучий россиянин, который хочет скорее стать европейцем. Вот мы и теперь такие.

А тогда что было? «Почвенники» 50—60-х годов XIX века по сравнению со славянофилами 30-х уже немало другие. Достоевский был истинным «почвенником», он-то понимал, что все высокие идеи должны на что-то опираться. А «почва» наша — не европейская. И идея «почвенников» заключалась не в поиске славянского варианта культуры, а в том, что нужно искать смысл и дух русской почвы. В этом смысле я бы назвал «почвенником» и Лескова, который ясно видел нашу русскую хлябь, нашу рус-

скую бездну, «навоз родной» — как он говорил. К «почвенникам» прикосновение не только Достоевский, но в какой-то степени и Толстой. «Война и мир» — это книга о русской «почве» и русском духе.

Кажется, и Толстой, и Достоевский были людьми, строящими в воздухе, они смотрели как бы «от Бога». Из верхней бездны. Достоевский при этом видел и нижнюю бездну. Толстой не хотел ее видеть. Он строил, как Саваоф. Он свое Евангелие писал. Лесков хорошо знал нижнюю бездну. Знал фактуру, знал русскую почву. В этом смысле он тоже «почвенник».

По аналогии берите нынешнего Саваофа, Солженицына, который, конечно, тоже реет в воздухе, пророчески... Ощущение такое, что со времен лагеря он помнил Россию. Как тогдашний лагерь, и все, что он теперь о ней выстраивает в своих послыльных соображениях, проекция его тогдашних размышлений, тогдашней ненависти, тогдашнего желания вырваться из гибельной реальности. Александр Зиновьев, я думаю, лучше знает «почву», он знает, почему Сталин оказался вождем. Вот по аналогии теперь и судите. В этом смысле Зиновьев, конечно, «почвенник». Улавливаете разницу? Просто другой подход. То, что с «почвенничеством» происходит сейчас, это уже отдельный разговор...

— В 60-е года вы написали книжку о Павке Корчагане, вернее, о Николае Островском. Как по вашему, Павка, это продукт русской «почвы» или, условно говоря, коммунистической?

Это продукт смешанный: и коммунистический, и русский. «Как закалялась сталь» это одна из ключевых книг Там не то что котлетей гремячая смесь. Когда в 1965 году мне позволил издательство мой одноклассник и предложил написать об Островском, я хотел было его послать... и по-

идеи в книжке поймет один из десяти, а 9 других просто перечитают «Как закалялась сталь». В конце концов, в 71-м году моя подпорченная книжка вышла в «Школьной библиотеке». Утешило то, что учителя раскупили ее сразу. А потом опять разразился скандал. Семен Адольфович Трегуб напечатал обо мне разоблачительную статью и послал ее в ЦК, в обком, в журнал «Вопросы литературы». Ладно. Прошло 10 лет, и в 1981 г. в ЦК комсомола мне вручили за эту книжку грамоту. Я был страшно доволен...

Мне всегда очень было по-человечески жалко Островского. Теперь, когда некоторые его склонны обвинять, мое отношение не изменилось. Он столько же жертва обстоятельств, сколько и модель, почва, на которой произошел этот эксперимент. Для меня было важнее то, что тогдашняя молодежь восприняла книгу, как священное писание, чем то, как книга написана. Человек слаб, ритуальные перила ему помогают жить. Как и тогда, массы и сейчас склонны создавать себе мифов. В этом наша вечная трагедия. Мы пережили эпоху великого соблазна, и все поддалось ему в разной степени. В этой эпохе было столько же ужаса, сколько святости и энтузиазма. Поэтому я и занимался Островским. Не с тем, чтобы его возвысить или разоблачить, а чтобы понять. Мой народ прошел через это состояние на протяжении нескольких поколений. Я что, могу это зачеркнуть? Или я могу это просто осудить? Нет! Я это должен разделить, пережить. Я должен за это отвечать. И за него же тоже. Если я хочу быть не только жильцом, а и сыном своего народа, я должен отвечать за все, что он надеялся и еще надеется. Прогнозировать я не берусь. Что Ключевский сказал? «Нельзя в России быть пресудительным, но осудительным надо быть». И уж за всяком слу-

твом горизонте, он не спрашивает, что тебе нужно. И ты не можешь дать себе отчет, почему именно он и что именно он оставляет в твоей душе. Но ты потом всю жизнь обнаруживаешь, что берешь именно у него. А огромное количество профессоров, которые были на моем пути в университете и после... я с трудом вспоминаю, что же они мне дали.

Следующая встреча наша произошла в 1965 году. Я тогда собирал песни Бардова. Записал Окуджаву, Визсова, Кима, Визбора. Встретил я Свияжского неожиданно на улице. Обменялись парой слов. Потом он говорит: «Я слышал, что вы собираете песни?» Я говорю: «Да. Это очень интересная линия поэзии, некая пока, но в ней есть многое...» Он говорит: «Вы знаете, я тоже очень этим интересуюсь. Давайте мы с вами встретимся и послушаем записи друг друга». Я говорю: «Хорошо. Только у меня телефона нет, давайте я вам позволю?» На что он ответил: «Вы знаете, мой домашний телефон... испорчен. Я вас сам найду, когда можно будет». Через два дня его арестовали. Шестидесять шестой год...

Потом я подписал письмо в его защиту. Потом потерял работу. Нет, это было не так мучительно, как у других. Когда меня спрашивали, почему я его защитил, я отвечал, что он мой учитель, и я за него должен вступить. Никакой «политики».

Моя судьба странным образом символизирована этими отношениями с Свияжским. Вот, смотрите. Я всю жизнь чувствовал себя родственником «левым» течениям критики. И всю жизнь не мог с ними сотрудничать. Я симпатизировал «Новому миру» но они никогда не признавали меня своим. Я не вписывался по рисунку, по игре, по роли. У них был другой тип роли, чем у меня. Я всегда был немного легкомысленным. И они меня считали легкомысленным. И я соглашался с ними. Я и сейчас повторил бы то же самое.

Но как удивительно все символизировано. Я чувствовал себя учеником Свияжского, должен был стать им формально. И не стал. Он оказался на дипломе моим оппонентом. И точно так же вся система левой критики 60-х годов для меня была объектом оппозиции, ценнее которого не было ничего. Я всю жизнь оппонентом той, «новомировской» линии, которой внутренне сочувствовал. Это была странная судьба. Мой рок. Я это принял, и я соответствующую роль доиграл.

В заключение скажу, что работы Свияжского, конечно, классические. «Голос из хора» вещь замечательная. Книга о Гоголе — хрестоматийная по методу. И по технике исполнения, и по общему чувству предмета. Техника у него такая что можно учиться и учиться. И наконец «Прогулки с Пушкиным» — это абсолютно классическая работа где нет никакой русофобии. Это надо быть малым дитятей, чтобы из него извлекать русофобию, из фразы: «Россия сука ты за все ответишь». Это же блатная интонация, это тоже игра, которую надо понимать. Преломление пушкинского мифа в зоне. Ежели уметь читать и эту книгу прочесть по-настоящему — можно увидеть там «уникальный анализ Пушкина как абсолютно нового феномена русского поэта русского писателя, русского интеллигента».

— Ваша любимая книга?

Их много... В раннее время... Но в общем Евангелие.

— О чем бы вы хотели еще написать?

— За Булгакова я не взялся бы. Потому что М. Чудакова уже написала. Не взялся бы и за Айтматова. Потому что там колоссальный перевес природной силы над обработанностью текста. Гигантский самородок. Но меня будет ранить безвкусица. А потом там ислам...

Вот за Параджанова я взялся. Наверное, напишу. Я взялся за Матвеевского. Но медлю, потому что не могу в этой кровотокающей ситуации писать про Армению. Я боюсь коснуться этих ран.

Хочу написать биографию моего отца... родословие. Это уже написано... до середины. Хочу до конца, то есть «до себя». Я очень хотел бы написать о Тютчеве.

— В чем вы испытываете нужду?

— В колбасе из мяса.

— В чем ваша вера?

— Толстой говорил: Бога нет, но что-то есть. Блаженный Августин говорил: душа человеческая по природе христианка. Вот я ишу где-то в этих координатах. Атеист по воспитанию. Обязательную «веру» — не вынесу. Очень близок Бердяев с его апологией свободы.

Свобода гибельна, но иначе невозможно. За все надо расплачиваться: за свободу, за любовь, за счастье. Жизнь моя полна боли, и я совершенно несчастлив. Я все время жду катастрофы и за каждое мгновение благодарю судьбу.

Интервью вел В. ЛЕБЕДЕВ.